

ПРИЛОЖЕНИЕ III

**ДОПОЛНЕНИЕ К СБОРНИКУ *РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНЕКДОТ
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКОВ*****ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА**

В 1699 г. Петр, взяв Азов, отправил в Константинополь послом думного дьяка Украинцева. Украинцеву был предоставлен корабль "Крепость" под командой бывшего пирата Памбура и, кроме того, его сопровождал целый флот.

Подойдя к Босфору, флот остался в море, а "Крепость" вошла в Босфор и стала на якорь против султанского дворца. Отдан якорь, Памбур произвел салют из всех 48 пушек своего корабля. Украинцев доносил затем Петру, что от этого салюта "султанские женки окорача поползли", и султан просил "больше не салютовать". Вскоре началась в Константинополе одна из бесчисленных конференций с участием послов всех европейских держав. Об этой конференции Украинцев между прочим доносил Петру: "... и Аглицкий посол изbleвал хулу на твою высокую особу, я тогда лаял Аглицкого посла матерно". (Крылов 1984: 283)

<Чернышев> Григорий Петрович проезжал однажды чрез Калугу, о чем сведав наперед, тамошние купцы и зная, в какой находился он милости у монарха, вышли к нему навстречу за город; но как калужане имели тогда между собою ссору, разделявшую их на две партии, то каждая из них вышла с особым хлебом и солью. Григорий Петрович, поблагодаря их за сделанную ему честь, тотчас спросил: какая была причина, что они разделились на две половины и каждая особо поднесла ему хлеб и соль? Должно было им признаться, что причиною тому их ссора. "Как ссора?" – возразил на это Чернышев с великим гневом – "одного города жители, одной церкви христиане и одного государя подданные имеют такую вражду, что и сообщаться друг с другом не хотят? Так-то вы исполняете закон Божий и волю государя, желающего видеть всех в согласии! Плетей!" – закричал он бывшим при нем несколькими гренадерам. Устрашенные купцы пали на колена и со слезами просили помилования. "Какой милости достойны вы, непотребные?" – закричал на них Чернышев – "Вы мятежники, разрушающие спокойствие города, и должны быть в пример другим быть без милости наказаны". – Купцы увеличили вопль и слезы; обещали примириться и никогда не заводят подобных между собою ссор. – "Хорошо" – сказал тогда добродетельный вельможа и немедленно послал в город за протопопом, чтоб он вышел со крестом, евангелием и наложником. По прибытии протопопа, Григорий Петрович велел купцам присягнуть в том, что они искренно всякую между собою вражду оставляют и предают забвению; что мстить друг другу и возобновлять злобу свою никогда не будут, и что вечно станут жить в мире и согласии. Все это было ими исполнено, и Чернышев приказал им в знак мира друг с другом поцеловаться. – "Теперь", произнес он – "я долгом своим поставляю наведываться всегда, как вы будете себя вести; и ежели узнаю, что вы и после сего заведете еще какую-либо между собою ссору, то поступлено будет с вами, яко с клятвопреступниками, нарушителями крестного целования и мятежниками". – Григорий Петрович велел им потом снова поцеловаться и,

сам их всех перецеловав, въехал в город вместе с ними, как будто в некотором триумфе. Следствием сего было, что калужские граждане и по смерти Чернышева не смели даже мыслить о ссорах, и жили в великом согласии. Мир этот назывался *Чернышевским миром*. (Бантыш-Каменский 1836: 512–514)

Монахи просили Петра, чтоб он велел им отвести к монастырям некоторые угодья. Не жалуя корыстолюбия ни в каком звании, а тем еще менее в монашеском, он приказал оставить эту просьбу без внимания, сказав, что сам позаботится об их выгодах. Монахи через несколько времени опять подали ему новую просьбу. Петр работал тогда в Адмиралтействе и на докладе Меншикова написал собственноручно: не хотят ли они хуя. – Святые отцы после второй неудачной попытки, не предвидя успеха, успокоились. – Так прошло несколько царствований. – В царствование Екатерины II они не утерпели и снова подали просьбу о том же. – Она велела справиться в делах и узнав, что по этому предмету существует уже резолюция Петра Великого, захотела узнать ее. – Трудно было отыскать эту бумагу в Сенатском Архиве, а труднее было решиться показать ее Государыне. Но делать было нечего. С улыбкой прочтя отметку Петра Великого, она сказала князю Куракину, отдавая ему прошение монахов: "Утверждаю в полной силе резолюцию Петра Великого, впрочем я и этого дать им не могу". – Ермолов же от себя прибавил: потому что Государыня считала нужным оставить это для себя. – Он уверял, что бумагу с собственноручно написанными словами Петра и теперь можно видеть в Сенате, где он ее и видел. (Anecdótica 1993: 205)

ВРЕМЕНА ЕЛИЗАВЕТЫ И ЕКАТЕРИНЫ II

Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 000 рублей. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал: дать, е... м... (Пушкин 1949: 16)

Государыня меня любила за мою откровенность и за мое непринужденное с нею обхождение. Матушка, когда меня провожала ко двору, твердила мне: "ничего не трогай и ничего не проси". Валентин Эстергази, которого князь Зубов желал видеть на моем месте, напротив того, говорил Государыне только то, чему научили его родители. У него не доставало то того, то другого: полотно рубашек его было до того грубо, что драло ему кожу, за обедом дома у них бывало всего два блюда и т.п. Государыня скоро подметила, что ребенок повторял только заранее выученное. Как-то раз он поел слишком много репы или гороху и ненароком испустил вздох, который ошибся выходом. "Ну, – заметила Императрица, – наконец услышала я кое-что его собственное". (Рибопьер 1877: 474)

Она (Екатерина II – *Е.К.*) знала, что губернатор Волков грабит свою губернию, и говорила: "C'est un homme d'esprit et tout le monde a des défauts" (Это умный человек, а недостатки есть у всех). (Смирнова-Россет 1989: 131)

Аграфена Александровна Рибопьер жила в Петербурге открытым домом и радушно

принимала дипломатов. Ежедневными ее собеседниками были граф Сегюр (1753–1830), бывший с 1784 по 1789 год министром в Петербурге, и граф Людовик Кобенцль (ум. в 1808), 20 лет почти живший при Русском дворе (1779-1797) в качестве Австрийского посла. Он был в большой милости у Императрицы, писал комедии для Эрмитажа и нередко сам их разыгрывал. Кобенцль был замечательно дурен собою, но живой его разговор и ничем невозмутимое веселье, говорит Сегюр, заставляли забывать о его невзрачности... При Кобенцле в Петербурге долгое время жила сестра его, столь же умная, но едва ли уступающая ему в невзрачности. Замужем она была за французским эмигрантом графом Ромбеком (de Rombesq), недалеким старичком, следовавшим всюду за женою и вечно дремавшим на вечерах в каком-нибудь уголке. Живая, эксцентричная и бойкая, г-жа Ромбек смотрела на мужа как на своего рода привилегированного слугу и постоянно будила его на собраниях звучно раздававшейся фразой: "Rombesq, puisque vous êtes debout"... В России графиня выучилась многим крупным и непечатным выражениям. Она в Вене дружески приняла молодого Рибопьера, который часто у нее бывал. Александр Иванович жил в то время в доме графа Разумовского, вместе с родным племянником посла, А.В.Васильчиковым. Им обоим прислуживал огромный крепостной гайдук Васильчиков. Как-то раз за одним из описанных выше обедов, случилось Рибопьеру и Васильчикову сидеть против графини Ромбек. Во время стола графиня стала пересказывать все знакомые ей и крайне нецензурные русские выражения. Тем временем начали менять куверты, а у молодых дипломатов остались прежние тарелки; они оборачиваются, – гайдук скрылся. За ним посылают. "Куда ты ушел?" – спрашивают его. "Помилуйте, старая халда ругается: совестно стало", – отвечает гайдук. (Рибопьер 1877: 489-450).

М.В.Ломоносов и А.П.Сумароков

В ранних годах славы Шувалова, при императрице Елизавете, лучшее место занимает Ломоносов...

Того же времени соперником Ломоносова был Сумароков. Шувалов часто сводил их у себя. От споров и критики о языке они доходили до преимуществ с одной стороны лирического и эпического, с другой драматического рода, а собственно каждый своего, и такие распри опирались иногда на приносимые книги с текстами. Первое, в языке, что произвело задачу обоим, перевод оды Жан-Батиста Руссо "На счастье"; по второму Ломоносов решился написать две трагедии. В спорах же, чем более Сумароков злился, тем более Ломоносов язвил его; и если оба не совсем были трезвы, то оканчивали ссору запальчивою бранью, так что он высылал их обоих или, чаще, Сумарокова. "Если же Ломоносов занесется в своих жалобах, – говорил он, – то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь об нем. Сумароков, услыша у дверей, что Ломоносов здесь, или уходит, или, подслушав, вбегает с криком: не верьте ему, ваше превосходительство, он все лжет; удивляюсь, как вы даете место у себя такому пьянице, негодяю." – Сам ты подлец, пьяница, неуч, под школой учился, сцены твои краденые! (Тимковский 1859: 17)

Камергер Иван Иванович Шувалов пригласил однажды к себе на обед, по обыкновению, многих ученых и в том числе Ломоносова и Сумарокова. Во втором часу все гости собрались, и чтобы сесть за стол, ждали мы только прибытия Ломоносова, который, не зная, что был приглашен и Сумароков, явился только около двух часов. Пройдя от дверей уже до половины комнаты и заметя вдруг Сумарокова в числе гостей, он тотчас

оборотился и, ни говоря ни слова, пошел назад к двери, чтобы удалиться. Камергер закричал ему: "Куда, куда? Михаил Васильевич! Мы сейчас сядем за стол и ждали только тебя". – "Домой", – отвечал Ломоносов, держась за скобку растворенной двери. – "Зачем же? – возразил камергер, – ведь я просил тебя к себе обедать". – "Затем, – отвечал Ломоносов, – что я не хочу обедать с дураком". Тут он показал на Сумарокова и удалился. (Ломоносов 1962: 58)

К его (Ломоносова – *Е.К.*) великолепному погребению, на котором присутствовали с.-петербургский архиерей и многие другие вельможи, явился и Сумароков. Присев к статскому советнику Штелину, бывшему в числе провожатых, указал на покойника, лежащего в гробу, и сказал: "Угомонился дурак и не может более шуметь!" (Ломоносов 1962: 58)

Однажды в прекрасный летний день пошел он (Ломоносов – *Е.К.*) один-одинехонек гулять к морю по большому проспекту Васильевского острова. На возвратном пути, когда стало уже смеркаться и он проходил лесом по прорубленному проспекту, выскочили вдруг из кустов три матроса и напали на него. Он с величайшей храбростью оборонялся от этих трех разбойников. Так ударил одного из них, что он не только не мог встать, но даже долго не мог опомниться; другого так ударил в лицо, что он весь в крови изо всех сил побежал в кусты; а третьего ему уж нетрудно было одолеть; он повалил его (между тем как первый, очнувшись, убежал в лес) и, держа его под ногами, грозил, что тотчас же убьет его, если он не откроет ему, как зовут двух других разбойников и что хотели они с ним сделать. Этот сознался, что они хотели только его ограбить и потом отпустить. "А! каналья! – сказал Ломоносов, – так я же тебя ограблю". И вор должен был тотчас снять свою куртку, холстинный камзол и штаны и связать все это в узел своим собственным поясом. Тут Ломоносов ударил еще полунагого матроса по ногам, так что он упал и едва мог сдвинуться с места, а сам, положив на плечи узел, пошел домой с своими трофеями. (Ломоносов 1962: 58)

Речь идет о побоище между Ломоносовым, его соседом по дому – академическим садовником – Штурмом и гостями последнего, причем эта безобразная сцена обычно рисовалась так:

26 сентября, вечером у садовника были гости. Служанка садовника неожиданно натолкнулась в сенях на адъютанта Ломоносова, который "незнаемо с какого умысла" там стоял. Обнаруженный, он стал шуметь и, ворвавшись в горницу, закричал, что гости Штурма украли у него епанчу. Когда ему предложили быть осторожней в выражениях, он схватил болван, "на чем парики вешают", и начал всех бить и "двери шпагою рубил", в результате чего Штурм, жена его и все гости выскочили из окна... (Штурм 1933: 64)

Размышление и пылкость воображения сделали Ломоносова под старость чрезвычайно рассеянным. Он нередко во время обеда вместо пера, которое он по школьной привычке любил класть за ухо, клал ложку, которою хлебал горячее; или утирался своим париком, который снимал с себя, когда принимался за щи. Редко, бывало, напишет он бумагу, чтоб

не засыпать ее чернилами вместо песка. (Свиньин 1834: 215)

Сумароков был самолюбив, вспыльчив, вместе, добр, великодушен: боролся с Ломоносовым, соперником своим на литературном поприще, который осмеивал в трагике незнание русского языка, а трагик приводил в доказательство явного безумия Ломоносова – его "Граматику Российскую" и "Риторику"... (Бантыш-Каменский 1836: 117)

Сумароков не только своими литературными нападениями нажил себе много врагов, но он был очень неприятен в обращении, не умея владеть собою. Хотелось ли ему над чем подсмеяться, – он не скупился на насмешки, часто самые едкие и злые, даже если в душе не чувствовал ни малейшей злобы. Так, одному Чертову, хлопотавшему для него по какому-то тяжёбному делу, с которым он был в очень хороших отношениях, но фамилия которого вдруг ему показалась очень странною, он так окончил письмо: "С истинным почтением имею честь быть не вашим покорнейшим слугою, потому что Чертовым слугою быть не намерен, а просто слуга Божий Александр Сумароков". (Русские люди 1866: 270)

В 6 номере "Телеграфа" нынешнего года в статье "Биографическая справка" в возражение на слова Д.И.Хвостова, что А.П.Сумароков наследовал от отца орден св. Анны, сказано: "Думаем, что это неверность, ибо закон о наследовании орденов едва ли у нас существовал когда-нибудь". Хотя в справедливости такого доказательства нет никакого сомнения, будь даже вместо слов "едва ли у нас существовал когда-нибудь" можно было бы решительно поставить: "никогда у нас не существовал", ибо это противно учреждению орденов, награждающих только личные заслуги, однако ж А.П.Сумароков все-таки наследовал после отца название: *amans justicium, pietatem fidem* (девиз ордена св. Анны).

Это было вот каким образом: Екатерина, увидев Сумарокова вскоре после смерти отца его, спросила, шутя: "Много ли, Александр Петрович, получил ты в наследство?" – "Ничего, матушка государыня, почти ничего, – отвечал тот: жадные заимодавцы все расхватили. Одна только вещь осталась на память, позволь, матушка, хоть ту иметь при себе!" – "Она твоя по законам", – отвечала государыня.

Сумароков смекнул делом и на другой день явился во дворец в Анненской ленте. "Ах, плут! Обманул меня!" – сказала, смеючись, государыня. "Ну, да так и быть: чтобы приличнее носить этот орден, поздравлю тебя статским советником". (Ицков 1833: 341)

В подтверждение слов наших приведем несколько анекдотов о его (А.П.Сумарокова – Е.К.) характере, дошедших до нас прямо от очевидцев, по изустным преданиям.

Однажды в деревне, погнавшись со шпагою в руках за своим камердинером, чем-то его раздражавшим, он до того был ослеплен своею запальчивостью, что не заметил, как попал по пояс в воду, в небольшой прудик, через который ему пришлось преследовать беглеца.

В другой раз, в Москве, на святой неделе он прибил звонаря, который надоел ему, и, наконец, один знакомый, войдя к нему в кабинет, застал, что он, как сумасшедший,

гонялся за мухами, которые мешали ему писать.

Но как были в нем сильны порывы вспыльчивости, до которых часто доводила его малейшая безделица, так скоро и проходили они. Пред тем, кому случалось страдать от его горячности, он всегда старался заглаживать обиду, чем и как мог, потому что совсем не был зол, а напротив, так же пылок в порывах добра и благотворительности, как в порывах гнева. Следующий случай, рассказанный нам теми же очевидцами, может послужить самым убедительным доказательством его добродушия.

В последние годы жизни своей он худо занимался хозяйственными делами, и они пришли в совершенный упадок. Между тем, проходя однажды в Москве по улице, он встретил израненного инвалида, который попросил у него милостыню. Не имея денег ни в кармане, ни дома, Александр Петрович снял с себя шитый <золотом> генеральский мундир и отдал его инвалиду, а сам возвратился в одном камзоле. (Сумароков 1847: 317–318)

ПАВЕЛ I

...В Павле I эта страсть доходила до крайних пределов смешного. Малейшая ошибка против формы, слишком короткая коса, кривая пукля и т.п. возбуждали его гнев и подвергали виновного строжайшему взысканию. Но у нас где строгое, там и смешное. Павел приказал всем статским чиновникам ходить в мундирах, в ботфортах со шпорами. Однажды встречается он с каким-то регистратором, который ботфорты надел, а о шпорах не позаботился. Павел подозвал его и спросил:

– Что, судырь, нужно при ботфортах?

– Вакса, – отвечал регистратор.

– Дурак, судырь, нужны шпоры. Пошел!

На этот раз выговор тем и ограничился, но могло бы быть гораздо хуже. (Греч 1990: 88)

Нельзя вообразить, как сумасбродно Павел воевал внутри России. Вдруг нажалует тьму народа полковниками, генералами всех сортов, а чрез полгода всех, без просьбы, уволит в отставку... Видя, что число отставных в Петербурге усиливается, император вдруг велел выслать всех их из города, если они не имели недвижимости, процесса и т.п. Теперь легко это написать, а каково было тогда! Однажды едем мы, с семейством, ночью, от тетушки Елисаветы Яковлевны: дорогою встречаются обозы легковых извозчиков. Что бы это значило? Один извозчик нечаянно задавил кого-то. По донесении о том государю, последовал приказ: выслать из города всех извозчиков. Потом их воротили, видя крайнюю в них необходимость, но запретили дрожки, а велели им иметь коляски. Нет спора, что запрещение этого гнусного экипажа было бы очень полезно, но не вдруг, не в один день. Что сделали извозчики? Сняв подушку с дрожек, навязали на них сверху сани – вот-де и коляска! (Греч 1990: 92–93)

Император Павел, приехав однажды в Москву, радовался, что повсюду народ бежит за ним и толпится везде, где он ни окажется. Мне очень приятно, говорил он Обольянинову,

это доказательство народной любви. "Простите меня, – отвечал Обольянинов, – но я тут никакой любви не вижу. За две недели до приезда императорского величества проводили через Москву слона, и так же народ бегал за ним".(Вяземский 1988: 443)

АЛЕКСАНДР I

Государь Александр Павлович прогуливался однажды по саду в Царском Селе, шел дождик, однако это не помешало собраться толпе дам посмотреть на царя, обожаемого женским полом. Когда он поравнялся с ними, то многие в знак почтения опустили вниз зонтики.

– Пожалуйста, говорил государь, поднимите зонтики, не мочитесь.

– Для вашего императорского величества мы готовы и помочиться, – отвечали дамы. (Забавные изречения 1857: 9)

...Ответ его (Ланжерона – *Е.К.*) государю Александру на вопрос, о чем говорят Милорадович и Уваров: "Pardon, Sire, ces M. Mrs. parlent français, je ne les comprends pas" (простите, государь, эти господа говорят по-французски, я их не понимаю). (Вяземский 1992: 121)

В приятельском кружке говорили о многих благих мерах, предпринимаемых правительством, которые, по обстоятельствам и по силе вещей (как говорят французы), по внутренним причинам, по личным особенностям, не достигают указанной и желаемой цели. На это Жуковский сказал: "Наш фарватер годен только пока для мелких судов, а не для больших кораблей. Мы часто жалуемся, что корабль, пущенный на воду, не подвигается, не замечая, что он попал на мель". (Вяземский 1988: 417)

В двадцатых годах, Федор Петрович Уваров, тогдашний командир гвардейского корпуса, жил в Зимнем дворце. Александр Павлович, возвратясь однажды из Царского Села, позвал к себе Уварова, и когда тот взшел к нему, то государь встревоженный говорит ему: "Въезжая сегодня в город, я обогнал лейб-гренадерский батальон, шедший на ученье, и с ужасом увидел, что за батальоном везут воз палок." На что Уваров отвечал, что без этого, к прискорбию, обойтись нельзя. Тогда государь сказал ему: "Вы хоть бы приказали прикрыть эти палки рогожей". (Сухотин 1894: 601)

Александр назначил его (П.В.Чичагова – *Е.К.*) товарищем морского министра, умного и почтенного Н.С.Мордвинова, но Чичагов не мог переносить подчиненности; пользуясь кротостью начальника, он прибрал всю власть в свои руки и вскоре потом сам назначен был министром. Чичагов ревностно занялся преобразованием морской части, старался прекратить злоупотребления, изгонял людей неспособных и вредных, отыскивал и возвышал достойных, старался не об умножении числа кораблей, а о хорошей постройке и исправном вооружении их, старался о снабжении их всеми орудиями и учеными

средствами, прилагал попечение о распространении между офицерами познаний и опытности. Разумеется, что его понимали немногие. Большинство, т. е. невежды, завистники, лентяи и мошенники, поносили и клеветали его, утверждая, что он истребит флот, когда он, вместо шестидесяти неповоротливых и гнилых кораблей, предложил ограничиться двадцатью четырьмя исправными во всех отношениях.

Он выдержал эту пытку не более 1809 года, вышел в отставку и поехал путешествовать по Европе. На его место поступил слабый и недалёковидный маркиз де Траверсе, окружил себя неспособными людьми и ворами и довёл флот до самого жалкого состояния. Тайная летопись говорит притом, что он обязан был милостью Александра глазам хорошенькой гувернантки-француженки. Император, проезжая на запад России или за границу, будто невзначай, всегда останавливался в поместье маркиза, Романшине, и проводил у него несколько дней в рыцарских подвигах. Маркиз хлопотал только о построении большого числа кораблей и, спустив на воду, не заботился о них. Линейный корабль "Лейпциг", спущенный на воду в Неве, почему-то опоздал быть отправленным в Кронштадт до наступления зимы, простоял года два пред самым домом министра и сгнил совершенно. (Греч 1990: 320–321)

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I

Тютчев очень томился в Петербурге и только дожидался минуты, когда сможет возвратиться за границу. Часто говорил он мне: "я испытываю не Heimweh, а Herausweh" (не тоску по родине, а тоску по отъезду). (Тютчев 1989: 48)

Встречаю я однажды Тютчева на Невском проспекте. Он спрашивает меня, что нового; я отвечаю ему, что военный суд только что вынес приговор Геккерну. "К чему он приговорен?" – "Он будет выслан за границу в сопровождении фельдъегеря". – "Вы в этом вполне уверены?" – "Совершенно уверен". – "Пойду Жуковского убью". (Тютчев 1989: 48)

...Был я у Ермолова. Ум и память еще очень свежи, но иногда говорит как-то с трудом, тяжело и невнятно. Разговор зашел об умении выбирать людей и о том, как редко это умение встречается в правителях. " Вот если я пред кем колена преклоню, – сказал он, – то это пред незабвенным (Николаем I – *Е.К.*): ведь можно же было когда-нибудь ошибиться, нет, он уж всегда как раз попадал на неспособного человека, когда призывал его на какое бы то ни было место." (Вяземский 1992: 259)

Однажды император Николай, назначив свой выезд в Царское Село, повелел, чтобы никаких встреч ему не делалось. Железной дороги не было, шоссе еще не было открыто для публики, почему некоторые мосты были заложены. Подъехав к одному мосту, Государь заметил чиновника, суетившегося возле моста. Подозвав его и узнав, что это был исправник, Государь спросил: "Каким образом ты здесь, когда я приказал, чтобы не было мне никаких встреч?" – "По личному усердию, Ваше Величество". – "За личное усердие на неделю на гауптвахту", – сказал Государь. (Рассказы из недавней старины 1879: 258)

В начале 40-х годов был в Уфе губернатором Ив.Дм.Талызин, человек очень умный, дельный, живой и горячий. Был он недоволен городским головою Н. Призвав его и распушив, как водилось, он между прочим заметил: "Ты сегодня у меня голова, а я завтра из тебя сделаю пешку и кровь выпущу!" (Рассказы из недавней старины 1879: 261)

В Стародубе было приготовлено для Государя помещение в доме губернского предводителя Ширая...

Кстати сказать о Ширае. Это был человек оригинальный по уму, манерам и привычкам. "Ваше превосходительство", – докладывает ему прикащик, – "у нас в хуторе валится пуня"(сарай). – "Ну, подопри", – равнодушно отвечает Ширай.

Предваряют его, что у него прикащик ворует, что он выстроил в Стародубе уже дом, советуют переменить. "А он дом-то уж выстроил?" спрашивает Ширай. "Выстроил", – отвечают ему. "А другого возьму, ему еще строить надо будет", замечает хладнокровно Ширай.

Иной раз он, узнав о воровстве кого-либо из прикащиков, велит ему зашить карманы и позвать к себе. "Суй руки в карман". Прикащик сует руки, но карманы оказываются зашитыми. "Куда, ворюга, будешь ворованное класть?" – спрашивает Ширай. "А что, стыдно? Ах ворюга, ворюга. Пошел!" (Рассказы из недавней старины 1879: 252-253)

Лунин вел жизнь уединенную; будучи страстным охотником, он проводил время в лесах и только зимой жил оседло. Он много писал и забавлялся тем, что смеялся над правительством в письмах к своей сестре. Наконец он сделал заметки на приговоре над участниками Польской революции. Дело обнаружилось, и вот однажды в полночь его дом оцепляется двенадцатью жандармами, и несколько человек входят, чтобы его арестовать. Застав его крепко спящим по возвращении с охоты, они не поцеремонились разбудить его, но смутились при виде нескольких ружей и пистолетов, висевших на стене; один из них высказал свой испуг; тогда Лунин, обратившись к стоявшему около него жандарму, сказал: "Не беспокойтесь, таких людей бьют, а не убивают". (Декабристы 1988: 334)

В одно утро прибыл в лагерь из Тифлиса главнокомандующий, генерал Головин. Кавказские боевые войска были странно поражены увидеть перед собою генерала при 45 градусах тепла в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, в огромном галстук... Пот градом обливал его лицо, которое он тщетно старался утирать носовым платком. Рассказывали, что при свиданье с Раевским, когда Головин, сняв фуражку, поздравлял его с счастливым занятием и покорением нового места под скипетр Российской державы и спросил, какой награды он желает, Раевский простодушно только просил позволения снять сюртук и галстук. (Мемуары декабристов 1988: 479)

Князь А.М.Горчаков (впоследствии канцлер) не пользовался благоволением императора Николая Павловича именно вследствие неприязни к нему графа Нессельроде. Многие годы сидел он советником посольства в Вене, не получая очередных почетных наград. Любопытно, что этому способствовал один ничтожный, по-видимому, случай, который,

однако, в среде лиц, окружавших государя Николая Павловича, составил Горчакову известность либерала, известность, для того времени весьма печальную.

Как-то однажды в небольшой свите императора Николая Павловича приехал в Вену граф Александр Христофорович Бенкендорф.

За отсутствием посланника, Горчаков, исполнявший его должность в качестве старшего советника посольства, поспешил явиться, между прочим, и к графу Бенкендорфу.

После нескольких холодных фраз, он, не приглашая Горчакова сесть, сказал:

– Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед.

Горчаков совершенно спокойно подошел к колокольчику и вызвал метрдотеля гостиницы.

– Что это значит? – сердито спросил граф Бенкендорф.

– Ничего более, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете сами обратиться к метрдотелю гостиницы.

Этот ответ составил для Горчакова в глазах всеильного тогда графа Бенкендорфа репутацию либерала. (Шевляков 1900: 66)

Будучи начальником бугской уланской дивизии, генерал-лейтенант барон Остен-Сакен делал инспекторский смотр.

Зашел в один из полковых лазаретов и прямо в палату самых трудно больных.

Усердствующие лекаря и смотритель лазарета заранее распорядились, чтобы все больные, при посещении их генералом, стояли каждый около своей койки, и когда Остен-Сакен поздоровается с ними, то чтобы они ответили ему обычным раскатистым "здравия желаем, ваше превосходительство".

Согласно распоряжению лазаретного начальства, больные с большими усилиями вытянулись во фронт, только что Остен-Сакен переступил порог их палаты, но многие не выдержали этого напряжения и в изнеможении повалились на койки.

– Здорово, ребята! – приветствовал их начальник.

Ответ послышался едва уловимый и то не всеми больными поддержанный.

Дивизионный тотчас же смекнул, откуда вытекает такое необыкновенное исполнение дисциплины и сильно раскричался на чересчур угодливых лекарей и смотрителя.

– Вы с ума сошли, заставляя таких слабых вставать... Ложитесь, ребята! – приказал он больным и направился в другие палаты.

Перепуганный смотритель снова переусердствовал. Потихоньку от генерала приказал он фельдшеру забежать кругом и объявить всем остальным больным, чтобы они не вставали с постели во время посещения их генералом, что и было исполнено теми в точности.

Заходит Остен-Сакен в венерическую палату. В ней здоровяки-солдаты спокойно лежали

под одеялами и на приветствие начальника гаркнули такое оглушительное "здравия желаем", что стекла в окнах задребезжали.

– Что это? Что это? – заговорил барон, никак не ожидавший такой встречи. – Чем они больны?

– Венерическими болезнями, ваше превосходительство.

– Почему слабых вы заставляли вставать при мне, а этих болванов нет?

Лазаретное начальство ответом не нашлось...

На другой день Остен-Сакен дал приказ: лекарей и смотрителя посадить на гауптвахту, а венерических больных выпороть.

Впоследствии, вспоминая этот инспекторский смотр, смотритель серьезно дивился непоследовательности Остен-Сакена: в одной палате разругал, зачем солдаты встали, в другой – зачем не встали.

– Вот и угоди нашему начальству! – сокрушенно вздыхал он. (Шевляков 1900: 90)

Е.Ф.Канкрин

Дружинин поступил в канцелярию статс-секретаря Ник.Ник.Новосильцова и был употребляем при многих тогдашних преобразованиях, потом перешел в министерство финансов, был директором канцелярии министра, а потом мануфактурного департамента. Он был человек очень способный к делам, мастер писать и отписываться, притом до чрезвычайности добр, снисходителен и услужлив. По утрам передняя его была наполнена нищими и – заимодавцами. Его срезала любовь к женскому полу и плоды ее. Граф Канкрин сказал мне о нем однажды: Яков Александрович добрый и способный человек, *шаль* только, что у него *много тетей*". (Греч 1990: 317)

Канкрин назначил вице-губернатором известного нашего баснописца и журналиста Измайлова. Тот однако угодил под суд и умер в нищете. С тех пор Канкрин, назначая кого-нибудь в вице-губернаторы, обыкновенно спрашивал его: "*Фи, батюшка*, стихов не пишете?" (Сементковский 1893: 46)

При рассмотрении в Государственном Совете сенатского доклада о том, могут ли быть членами протестантских консисторий лица других исповеданий – "Я думаю, сказал Канкрин, что скоро спросят Государственный Совет: могут ли мужчины быть кормилицами". (Вяземский 1886: 257)

А.С.Меншиков

Перед окончанием постройки петербургско-московской железной дороги, Клейнмихель отдал ее на откуп американцам, заключив с ними контракт. На основании этого контракта,

в первый год (с октября 1851 года) американцы пускали поезда только по два, потом по три раза в день, и каждый поезд составляли не более, как из шести вагонов. От этого товары лежали горами на станциях в Петербурге и Москве, а пассажиры третьего класса по неделе не могли получить билета на проезд. Кроме того, американцы, раздробив следующую им плату по верстам, обольстили Клейнмихеля копеечным счетом, с каждой версты они назначили себе по I S копейки серебром; но из этого, по-видимому, ничтожного счета выходила огромная сумма, и все выгоды остались на стороне американцев.

В феврале 1852 года, когда общий ропот по этому случаю был в разгаре, прибыл в Петербург персидский посланник со свитой. Император приказал показать ему все редкости столицы, в том числе и новую железную дорогу. Сопровождавшие персиян, исполнив это поручение, подробно докладывали, что показано ими, и на вопрос его величества: "Все ли замечательное показано на железной дороге?" отвечали все: "все". Меншиков, находившийся при этом, возразил: "А не показали самого редкостного и самого достопримечательного!" – "Что такое?" – спросил государь. – "Контракта, заключенного графом Клейнмихелем с американцами", отвечал Меншиков. (Пыляев 1898: 173–174)

В 1859 году, когда начались натянутые отношения между дворами российским и турецким, Меншиков был отправлен в Константинополь чрезвычайным послом. Он был принят там с большою торжественностью, навстречу ему вышел патриарх, по всей дороге были расставлены турецкие войска. Меншиков отнесся к туркам с большою гордостью, как посол монарха не просящего, но повелевающего. На смотре войск он был в пальто с хлыстиком, даже свита его была одета довольно небрежно. С этой небрежностью князь являлся на переговоры, когда первые чины дивана встречали его со всеми почестями. Переговоры длились, султан изъявлял согласие, но недоброжелатели России – англичане и французы – принуждали его пускаться в азиатские хитрости. Меншиков говорил, что диван здесь на английских пружинах.

В то время везде стали заниматься верчением столов и много говорили об открытии новой силы, которая заставляет от прикосновения человеческих рук ходить столы и другие вещи. Когда Меншикову говорили об этом, он сказал: "У вас вертятся столы, шляпы, тарелки, а от моего прикосновения – диван завертелся!"

Отпуская из Константинополя чиновника, он на вопрос последнего, не прикажет ли его светлость еще что-либо сказать: "Больше ничего, – отвечал Меншиков, по обыкновению морщась и грызя ногти: "Разве прибавь, пожалуй, что я здоров, что часто езжу верхом, что теперь объезжаю лошадь, которая попалась очень упрямая, и что лошадь эту зовут – *Султан*" (Пыляев 1898: 177–178)

Однажды князь А.С.Меншиков, в числе других, сопровождал императора Николая Павловича в Пулковскую обсерваторию. Не предупрежденный о посещении императора, главный астроном Струве в первую минуту смутился и спрятался за телескоп.

– Что это с ним? – спросил государь.

– Вероятно, ваше величество, заметил Меншиков, указывая на знаки отличия свиты, – он

испугался, увидав столько звезд не на своем месте. (Наш мир 1924: 310)

К.П.Брюллов

Брюллов сочувствовал красоте и всему прекрасному, как не сочувствует иногда множество развитых личностей, взятых вместе. При таких условиях его духовного склада объясняется и весь избыток его фантазии, которая не знала пределов и, без сомнения, не могла примириться с действительностью, что и было поводом к его своеобразной жизни. Работая на лесах в куполе Исаакиевского собора, Брюллов говорил: "Как тесно! я бы теперь расписал небо!" (Рамазанов 1852: 99)

Брюллов вел меня к столу и сел по левую руку; по правую сел Т... Обед был превеселый.

Брюллов предавался своей врожденной любезности со всею живостию его ума и сердца.

Его ли присутствие или мое собственное внушило Т ..., но и он осыпал меня самыми милыми изъяснениями.

Я сидела между двух огней, блестящие искры которых, как фосфорические яркие частицы, вспыхивали и угасали: они мне нравились, как все сияющее, но по легком и минутном прикосновении скользили безвредно и души моей не волновали.

Т ... спросил у Брюллова, когда он написал мой портрет и кому он предназначен, не ему ли самому?

– Нет, он мне не нужен, – отвечал Брюллов. – Он у меня всегда тут, – продолжал он, указывая на сердце.

– Сделайте тогда литографию, и мы все ею воспользуемся.

– То-то и беда, что сердце-то не каменное, – сказал Брюллов: отпечатать нельзя. (Ростовская 1852: 162–163)

Раз как-то Дурнов хотел пошутить над К.П.<Брюлловым> и, указывая на посредственную живопись, сказал: "А ведь тут много Брюлловского стиля?" – "Нет, – ответил К.П.Брюллов, – тут, Ваня, много Дурнова".(Рамазанов 1852: 108)

А.М.Геденов

Петипа был приглашен в петербургский балет в 1847 году. Из Парижа он ехал в Петербург морем, через Кронштадт. Вместе с ним ехала известная драматическая артистка французского театра Вольнис.

В Кронштадте они пересели на другой пароход, так как большие морские дальше не ходили, и приехали 24 мая 1847 г. в Петербург на Английскую набережную. Там была таможня.

В Петербурге стояла страшная жара.

Пока Петипа исполнял поручения Вольнис, у него украли фуражку, которую он положил на скамейке парохода. Ему пришлось ехать в отель, на Михайловскую улицу, с головой, повязанною платком.

На другой день Петипа явился представиться директору театров А.М.Гедеонову.

– Хорошо ли доехали? – спросил Гедеонов.

– Хорошо, ваше превосходительство...Когда я буду дебютировать, ваше превосходительство?

– Ступайте, мой милый, гулять.

– Как гулять? Я ангажирован...

– Идите, гуляйте и отдыхайте...

– Но у меня нет денег!

– Вам дадут вперед, если вы хотите... Гуляйте три месяца, смотрите острова, там очень хорошо...

– Деньги получить и гулять? – удивился Петипа.

– Ну-да... В Петербурге сезон начинается в августе... Вы будете дебютировать в начале зимнего сезона...

– Вот прекрасная страна! – сказал обрадованный Петипа. – Дают отдых и деньги платят. (Шевляков 1900: 159–160)

Александр Михайлович Гедеонов, несмотря на свой вспыльчивый характер и наружную суровость, был любим всеми подчиненными.

Почти всем, как мужчинам, так и женщинам, он говорил "ты". Конечно, никто на это не обижался, так как большинство служило под его начальством чуть ли не с детства.

Будучи нервным и раздражительным, он не умел сдерживаться и так иногда кричал на актеров и на своих чиновников, что те буквально шалели от его распеканий, часто совершенно неосновательных и беспричинных.

Любимым его выражением во время выговоров была угрожающая фраза:

– Я тебя в солдаты отдам!

Были случаи, что в пылу гнева Александр Михайлович говорил это даже женщинам. (Шевляков 1900: 110–111)

Чиновники, заведовавшие хозяйством и счетной частью, в директорство Гедеонова

наживали большие капиталы. Они, по рассказам очевидцев, до того бесцеремонно пользовались добротой и доверчивостью директора, что заставляли изумляться всех, близких к театру людей, которые утверждали: что это все было известно самому Александру Михайловичу, но что он не принимал никаких мер пресечения только благодаря своему мягкосердечию. Он будто бы жалел отдавать под суд своих излюбленных чиновников.

Рассказывали, что как-то Гедеонов вышел из терпения и громогласно стал распекать своих подчиненных, которые прикинулись невинными агнцами и смиренномудро выслушивали директорские справедливые упреки. Александр Михайлович говорил внушительно и долго, так долго, что в конце концов надоел сам себе и закончил свою нотацию такую неподражаемую фразой:

– Впрочем, воруйте!.. Воруйте, черт вас возьми... Воруйте, пока я еще здесь... (Шевляков 1900: 111)

В хозяйственном отношении Гедеонов был невозможно плохой администратор. Он держал себя большим барином и на все недостатки управляемого им учреждения смотрел сквозь пальцы. Например, театральные кассы были почти бесконтрольны. Кассиры чувствовали себя полновластными хозяевами и с вырученными за билеты деньгами обращались весьма неосторожно.

Является однажды Гедеонов в Александринский театр и самодовольно обводит глазами залу, наполненную народом.

– Удивительно, – сказал он сопровождавшему его чиновнику, – мне доносили, что эта пьеса не делает сборов, между тем публики очень много. Что же это значит?.. Позови-ка сюда кассира.

В директорскую ложу входит кассир.

– Каков сегодня сбор? – спрашивает Александр Михайлович.

– Триста сорок два рубля, ваше превосходительство, – отвечает кассир.

– Неужели только триста сорок два рубля? Не может этого быть.

– Могу представить книжку с билетами.

– Этого не нужно, – мягко и не без иронии заметил директор, – но сделай для меня одолжение – накинь еще хоть сколько-нибудь. (Шевляков 1900: 111–112)

В московских театрах он слыл за "грозу"; все перед ним там трепетали более, нежели перед тогдашним управляющим московскими театрами А.Н.Верстовским, очень строгим и взыскательным начальником.

Перед самым отъездом Александра Михайловича из Москвы в Петербург, какой-то хорист тяжело провинился. Рапортом доложили об этом директору, сделавшему тотчас распоряжение о вызове этого хориста к нему на следующее утро. В назначенный час тот

является в приемную Гедеонова и застаёт там своего сослуживца, тоже хориста, пришедшего просить о прибавке жалованья.

Выходит из кабинета директор, осматривает просителей и раздраженно спрашивает:

– Кто вы? Что нужно?

Александр Михайлович в это утро был особенно не в духе, и потому нельзя было ожидать от него благоприятного приема.

Ближе к нему стоявший проситель, явившийся ходатайствовать о прибавке, ответил:

– Хорист Петров.

– А это ты?! – набросился на него директор, принимая его за вызванного по рапорту конторы. – Молодец! Ловко отличаешься! Да знаешь ли ты, негодяй, что я тебя в мелкий порошок могу истолочь? В солдаты сдать? Выгнать вон из службы? Распустились вы тут все без строгого надзора. Пьяницами стали, забулдыгами...

– Извините, ваше превосходительство, – заметил Петров, дрожа всем телом: – я ни в чем не виноват.

– Знаю, как ты не виноват. Все, негодяи, правы...

– Это, вероятно, вот он провинился, указал хорист на товарища.

Гедеонов немного смутился и после небольшой паузы, показывая на напрасно обиженного, обратился к виновному и тем же строгим тоном сказал:

– Все то, что я наговорил ему, возьми себе...(Шевляков 1900: 113–115)

Как-то давно был при немецкой труппе сначала помощником режиссера некто Гемузеус. Главным же режиссером был Голанд, на которого Гедеонов однажды так разгневался, что пожелал немедленно его сменить. По мнению Александра Михайловича, удачным заместителем Голанда мог быть Орловский, хороший и известный актер той же труппы. Не долго думая, директор послал за ним Гемузеуса, который через короткий промежуток времени и доставил его в дирекцию.

Гедеонов встретил его радушно и тотчас же приступил к деловому разговору. Гемузеус остался у дверей в смущенно-почтительной позе.

Выслушав предложение директора занять должность главного режиссера, Орловский ответил:

– Искренне благодарю ваше превосходительство за честь, но согласиться на это не могу.

– Почему? – удивился Гедеонов.

– А потому, что при нашем составе труппы и при той обстановке, какая существует теперь на немецкой сцене, ни один порядочный человек не имеет права согласиться быть режиссером. Для этого нужно быть подлецом и мерзавцем.

– Значит, отказываешься? – спросил Александр Михайлович.

– Да... решительно...

Директор повернулся в сторону Гемузеуса и произнес:

– Слышал?..

– Слышал.

– Понял?

– Понял-с.

– Ну, так с сегодняшнего дня я назначаю тебя главным режиссером.

Гемузеус молча поклонился (Шевляков 1900: 116–117)

Директор императорских театров А.М.Геденов в надежде добыть очередной орден посулил по оплошности одну и ту же воспитанницу <театральной школы> в любовницы двум тузам, а когда спохватился, то исправил ошибку и услужил ее третьему, из еще более высокопоставленных, по протекции которого и удостоился желанной награды. (Щепкин 1988: 10–11)

ИЗ ЭПОХИ АЛЕКСАНДРА II

Он (Александр II – *Е.К.*) не любил слишком умных людей, ему было с ними как-то неловко.

"Quand l'empereur cause avec un homme d'esprit", говаривал Ф.И.Тютчев, "il a l'air d'un homme atteint de rhumatisme qui est expose a un vent coulis" (когда император разговаривает с умным человеком, у него вид ревматика, стоящего на сквозном ветру). (Феокистов 1929: 348)

Я имел случай высказать князю <А.И.Барятинскому>, что страна удивляется его равнодушию к подобным нечистым источникам, из которых так привыкли черпать туземные власти, не исключая губернаторов и главных начальников военных отделов. Нетерпеливо повернувшись в своем кресле, князь отрывисто ответил: "Если мы будем искать только честных людей, то получим одних дураков". (Инсарский 1894: 7)

В шестидесятых годах, во время одного из студенческих волнений в Московском университете, студенты целою толпою двинулись на Тверскую площадь предъявлять свои жалобы генерал-губернатору П.А.Тучкову. Их провожало множество народа, запрудившего улицу и площадь. По улице ехал известный писатель Н.Ф.Павлов в открытой пролетке, держа в руках свою великолепную палку с огромным набалдашником, по обыкновению важный и чопорно прибранный. Ехать дальше сделалось невозможно за

многолюдством. Подходит к Павлову какая-то старушка. "Кого это, батюшка, хоронят?" – "Науку, матушка, науку", отвечает Павлов, кивая величаво головою. – "Царство ей небесное!" умильно говорит старушка и осеняет себя крестным знаменем. (Русский Архив 1886: 432)

Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался. (Чехов 1949: 332)

"Вот наш Парнас! наши поэты, наследники Пушкина, – в том же восторге говорил энтузиаст, – вот тот, который говорит, – это Майков, Аполлон! направо – Полонский Яков Петрович, налево – Плещеев Алексей Николаевич, а вот там, на другой стороне, сидит Фет, – не унимался энтузиаст, – то есть теперь Шеншин – он, как сказал Тургенев, променял этим имя на фамилию". (Достоевский 1990: 410)

Актеру Вас.Ник.Андрееву-Бурлаку однажды Островский делал выговор за одну актрису, дочь известного литератора П., служившую под режиссерством и распорядительством Бурлака в частном Пушкинском театре. Следует заметить, что эта барышня не обладала ни красотой, ни дарованием, и к довершению всего была лишена ясного произношения.

– Как же вам не стыдно, Василий Николаевич, обижать талантливую и милую девушку, да еще к тому же дочь известного и уважаемого литератора? – сказал недовольным тоном Островский. – Мне родитель ее на вас жаловался, и это меня сильно тронуло. Вы буквально ничего не даете ей играть.

– Право, я в этом так мало виноват, – начал защищаться Андреев-Бурлак. – В новых пьесах она не появляется по желанию авторов, которые ни за что не хотят назначить ей роли, благодаря ее недостаткам, а старые пьесы, в которых она могла бы играть, не дают сборов, да и времени нет для репетирования их.

– Что за вздор! У нее нет никаких недостатков...

– А некрасивая наружность? А картавость?

– Все-таки если бы вы захотели, так могли бы из уважения к ее отцу дать ей возможность хоть изредка фигурировать на сцене. Кроме того, по-моему, она не без дарования, и даже с огоньком, да и собою премиленькая...

Затем разговор перешел на другие вопросы. Перед самым уходом Бурлака Островский спросил:

– Ну, что новенького в театре?

– Да вот намереваемся поставить вашу драму "Бесприданница". Не угодно ли будет пожаловать к нам на репетицию и на представление.

– С удовольствием. Мне признаться, давно хотелось, чтобы вы поставили ее у себя. А кто

будет играть Ларису? На нее нужна хорошая исполнительница, – это сложная роль.

– Да вот кстати: можно будет поручить ее дочери П.

Островский, позабыв недавние свои упреки Бурлаку, вдруг нервно стал пожимать плечами и сердито воскликнул:

– Да что это вдруг с вами сделалось? С ума сошли, что ли? Как же можно такую ответственную роль поручать П-й? Она хоть и дочь уважаемого литератора, но физиономия-то ее какова? Да еще и картавая... Если вы действительно намерены отдать ей Ларису, то я не только не приеду, но убедительно прошу вас и вовсе не ставить моей драмы... (Шевляков 1900: 213–214)

Чайковский и Апухтин оба жили, как муж с женой, на одной квартире. Апухтин лежал в постели. Чайковский подходил и говорил, что идет спать, и Апухтин целовал у него руку и говорил: "Иди, голубчик, я сейчас к тебе приду". (Суворин 1923: 29)

...Когда в прошлом году Н.С.Лесков умер, дочь его, по фамилии Нога (Лесков острил: у моей дочери такая фамилия, "что если сидеть между нею и ее мужем, то надо сказать: я сижу между ногами"), была у меня и говорила, что мать ее жива и живет в Петербурге в сумасшедшем доме. (Суворин 1923: 83)

Григорович мне говорил, что А.А.Краевский умер на полковнице, которую он содержал, и был привезен домой в карете мертвым. Он, вообще, был большой любитель женского пола... (Суворин 1923: 216)

Деянов воскликнул после убийства императора Александра II:

– Какое несчастье! Никогда еще этого не было.

– А Петр III? А Павел I?

– Да, но это на улице.

В комнатах можно душить, а на улицах нельзя! (Суворин 1923: 232)

Анекдоты о Назимове. Во время юбил^{ея} Москов^{ского} университета Шевырев предлагал пригласить актрис для изображения 9 муз. Назимов: "Зачем же только 9? Сколько угодно пригласим". (Суворин 1923: 336)

В Москве, даже в зале, много говорили о невозможных отношениях между Достоевским и Тургеневым, так как Тургенев не мог простить Достоевскому, что тот его так зло осмеял в

"Бесах"(Кармазинов). Распорядители были в отчаянии, и Д.В.Григоровичу специально поручено было следить, чтобы они не встречались. На рауте, в думе, вышел такой случай. Григорович, ведя Тургенева под руку, вошел в гостиную, где мрачно стоял Достоевский. Достоевский сейчас же обернулся и стал смотреть в окно. Григорович засуетился и стал тянуть Тургенева в другую комнату, говоря: "Пойдем, я покажу тебе здесь одну замечательную статую". – "Ну, если это такая же, как эта, – ответил Тургенев, указывая на Достоевского, – то, пожалуйста, уволь". (Достоевский 1990: 413)

	© 1995 by Efim Kurganov	
--	-------------------------	--

	Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, University of Helsinki	
--	---	--